



ЖАН
КОКТО



ЖАН
КОКТО



Двойной шпагат. Орфей
Опиум



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.133.1-82
ББК 84(4Фра)я44
К59

Серия «Зарубежная классика»

Jean Cocteau
LE GRAND ÉCART
OPIUM
ORPHÉE

Серийное оформление *А. Кудрявцева*
Компьютерный дизайн *Р. Алеева*

Печатается с разрешения SAS Lester Literary Agency & Associates.

За помощь в создании книги выражаем благодарность
организации Cocteau Committee.

Кокто, Жан.

К59 Двойной шпагат ; Орфей ; Опиум : [сборник] /
Жан Кокто. — Москва : Издательство АСТ, 2022. —
320 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-121975-8

В этот сборник вошли произведения разных лет, позволяющие читателю составить представление о различных гранях таланта великого французского писателя: небольшой роман «Двойной шпагат», эссе «Опиум» и пьеса «Орфей».

УДК 821.133.1-82
ББК 84(4Фра)я44

ISBN 978-5-17-121975-8

- © Éditions Stock, 1923, 1984, 1991 for Le grand écart
- © Editions Stock, 1930, 1983, 1993, 1994, 1997, 2002 for Opium
- © Editions Stock, 1927, 1957, 1986, 1991, 1994, 1998, 2005 for Orphée
- © Перевод. Н. Бунтман, 2021
- © Перевод. С. Бунтман, 2021
- © Перевод. Н. Шаховская, 2021
- © Издание на русском языке AST Publishers, 2022



Двойной шпагат



I

Жак Форестье был скор на слезы. Поводом для них могли быть кинематограф, пошлая музыка, какой-нибудь роман с продолжением. Он не путал эти ложные признаки чувствительности с настоящими слезами. Те лились без видимых причин. Поскольку свои малые слезы он скрывал в полумраке ложи или в уединении за книгой, а настоящие — все-таки редкость, он считался человеком бесстрастным и остроумным.

Репутацией интеллектуала он был обязан быстроте мышления. Он скликал рифмы с разных концов света и сочетал их так, что казалось, будто они рифмовались всегда. Через рифмы мы слышим — неважно что.

Бесцеремонным толчком он посылал имена собственные, характеры, действия, робкие высказывания в их крайнюю степень. Эта манера снижала ему репутацию лжеца.

Добавим, что прекрасное тело или прекрасное лицо восхищали его независимо от того, какому полу принадлежали. Эта странность давала основание наделять его порочными наклонностями: порочные наклонности — единственное, чем наделяют не задумываясь.

Не обладая такой внешностью, какой бы ему хотелось, не отвечая созданному им образу идеального юноши, Жак и не пытался достичь этого столь далекого от него совершенства. Он развивал слабости, тики и чудачества до того, что переставал их стесняться. Он ими добровольно щеголял.

Возделывание неблагодарной почвы, укрощение, облагораживание сорных трав придали его облику нечто суровое, совершенно не вязавшееся с его мягкостью.

Так, из худощавого, каким он был от природы, он сделался тощим; из ранимого — заживо освеженным. Его желтые волосы, торчащие во все стороны, не укладывались в прическу, и он стриг их ежиком.

В общем, эта внешность, по сути своей антиискусственная, обладала всеми преимуществами искусной мистификации, маскируя мещанскую приверженность к порядку, болезненное бескорыстие, унаследованное от отца, и материнскую меланхоличность.

Если б кто-нибудь из ловких, безжалостных парижских охотников его обнаружил, свернуть ему шею не составило бы труда. Одного слова хватало, чтоб его обескуражить.

Из презрения к скороспелому превосходству, которое приобретает отрицанием устоев собственного класса, Жак эти устои принимал, но на

такой необычный лад, что его семья не могла признать их за свои.

В общем, он отличался подозрительной изысканностью — изысканностью зоологической. Такой вот аристократ, не выносящий аристократии, парень из народа, не выносящий масс, тысячу раз на дню заслуживает Бастилии или гильотины.

Его не устраивают ни правые, ни левые, которых он считает мягкотелыми. Только для него, человека крайностей, золотой середины не существует.

В подтверждение аксиомы «Противоположности сходятся» ему мечталась некая девственно-крайняя правая партия, сходящаяся с крайней левой до полного слияния, но чтобы он мог действовать там один. Кресла нет, а если есть — оно никем не занято. Жак усаживался в него, как положено, и оттуда рассматривал все вопросы политики, искусства, морали.

Он не домогался никакого вознаграждения. Люди этого не любят.

Те, что домогаются — потому что бескорыстие притягивает удачу, которую они не способны признать честной. Те, что вознаграждают — потому что у них ничего не просят.

Достичь. Жаку не совсем ясно, чего, собственно, достигают. Короны или Святой Елены достиг Бонапарт? Чего достиг поезд, наделавший шуму, сойдя с рельсов и убив пассажиров? Не боль-

шим ли достижением было бы для него достичь станции?

Подыскивая для Жака подходящий прообраз в глубине веков, я разоблачаю его как существо паразитическое.

В самом деле: где бумага, подтверждающая его право наслаждаться трапезой, прекрасным видом, девушкой, мужчинами? Пусть покажет. Все общество вырастает перед ним, как постовой, и требует эту бумагу. Он теряется. Мямлит неизвестно что. Он не может ее найти.

Этот искатель наслаждений, чьи ноги уверенно ступают по земной тверди, этот критик пейзажей и творений держится здесь на ниточке.

Он тяжел, как водолаз в скафандре.

Жак копает в глубину. Он ее угадывает. Он к ней приспособился. Его не вытаскивают на поверхность. Его забыли. Подняться на поверхность, скинуть шлем и костюм — это переход от жизни к смерти. Но через шланг к нему доходит некое нездешнее дыхание, которое животворит его и переполняет ностальгией.

Жак живет в постоянном противоборстве с долгим обмороком. Он не ощущает себя устойчивым. Он ни на что не ставит, кроме как в игре. Едва осмеливается разве что присесть. Он из тех моряков, что не могут исцелиться от морской болезни.

В конечном счете, красоте чисто физической свойственна надменная манера быть везде как

дома. Жак, изгнанник, жаждет этой красоты. Чем менее она снисходительна, тем сильнее его волнует; его судьба — вечно об нее раниться.

За стеклом он видит праздник: расу, у которой все бумаги в порядке, которая радуется жизни, существует в своей природной среде и обходится без скафандров.

Значит, он соберет на лицах, не смягченных нежностью, урожай снов.

Вот что открыл бы идеальному графологу почерк Жака Форестье, который стоит сейчас перед зеркальным шкафом, вглядываясь в свое отражение.

Смотрите не ошибитесь. Мы только что описали Жака Форестье анфас, но тут его характер вырисовывается пока лишь в профиль; вот почему мы и говорим об идеальном графологе. Хорошо бы, чтоб он, распутывая буквенную вязь, распутал всю линию жизни. Жак станет человеком, который в какой-то мере опережает причину того, чему предстоит случиться; и с ним произойдет то, чему предстоит случиться, в какой-то мере из-за того, что опередило причину.

Вещи, атомы относятся к своей роли серьезно. Если бы зеркало зазевалось, Жак, несомненно, мог бы шагнуть в него ногой, потом другой, увидеть себя под другим жизненным углом, таким новым, что его и вообразить невозможно. Нет. Зер-

кало играет жестко. Зеркало есть зеркало. Шкаф есть шкаф. Комната есть комната, третий этаж, улица Эстрапад.

Еще он думает о том англичанине, который покончил с собой, оставив записку: «Слишком много пуговиц, чем застегивать их и расстегивать, лучше умереть». Потому что Жак расстегивает куртку.

Ждать. Чего ждать? Жаку хотелось бы ждать чего-то определенного, упростить свое ожидание. Он не был верующим или верил так смутно, что мать молилась за него как за атеиста...

Неопределенная вера порождает дилетантские души. А дилетантизм — преступление перед обществом. Он верил больше, чем подобает. Он не ограничивал и не уточнял своих верований. Самоограничение в вере придает определенный настрой душе, так же, как ограничение и уточнение своих пристрастий в искусстве придает определенный настрой уму.

Он смотрел на себя. Он заставлял себя смотреть.

В нас много такого, что выталкивает нас за порог собственной личности. С самого детства Жака обуревало желание не добиться любви того, кто казался ему прекрасным, а быть им. Собственная красота ему не нравилась. Он считал ее уродливой.

Воспоминания о человеческой красоте оставались в его памяти ранами. Например, один вечер в

Мюррене*. У подножия горы наспех пьют холодное пиво, которое выстрелом в упор ударяет в виски. Фуникулер трогается в путь среди шелковиц. Понемногу закладывает уши, нос уже не закладывает; приехали.

Жаку одиннадцать. Он помнит священника, у которого пропал чемодан, полудрему, гостиницу, благоухающую смолой, муторное прибытие в зал, где дамы раскладывают пасьянсы, а господа курят и читают газеты. Вдруг — какая-то заминка у клетки лифта, лифт спускается и высаживает молодую пару. Юноша и девушка, темнолицые, с глазами как звезды, смеются, сверкая ослепительными зубами.

На девушке белое платье с голубым поясом. Юноша в смокинге. Слышится звон посуды, и запах кухни оскверняет коридоры.

Едва очутившись в своей комнате с видом на стену цельного льда, Жак разглядывает себя. Он сравнивает себя с этой парой. Ему хочется умереть.

Потом он с ними познакомился. Тигран д'Ибрео, сын армянина, живущего в Каире, коллекционировал марки и готовил на керосиновой лампе тошнотворные сладости. Его сестра Иджи ходила в новых платьях и стоптанных туфлях. Они танцевали друг с другом.

* *Мюррен* — курорт в бернском кантоне Швейцарии. В 1900 году Жан Кокто отдыхал там со своей матерью. (*Здесь и далее комментарии Н. Бунтман, если не указано иное.*)

Стоптаннные туфли и медовые лепешки были знаком царственной, но убогой расы. Жак бредил этой кухней и этой рванью. Он не видел иного средства перевоплотиться в этих двух священных кошек. Ему тут же захотелось коллекционировать марки и делать миндальные леденцы. Он нарочно портил свои новые теннисные туфли.

Иджи кашляла. У нее был туберкулез. Тигран сломал ногу на катке. Отцу слали телеграммы. Однажды утром они уехали — кашляя, хромая, в сопровождении пса, таинственного, как Анубис*.

Жак кашлял; его мать перепугалась до безумия. Он оставил ее тревогу без внимания. Кашлял он из любви. Гуляя, он тайно хромал.

Каждый вечер после обеда он усаживался в плетеное кресло, и ему казалось, что он воочию видит Иджи в ее платье Святой Девы в освещенной рамке лифта, между лифтером и Тиграном, возносящуюся в небеса на крыльях ангелов.

С одиннадцати до восемнадцати лет он истлевал, как «армянская бумажка», которая быстро сгорает и не очень приятно пахнет.

* *Анубис* — египетский бог, покровитель умерших. Прикасаясь к мертвым, превращал их в «блаженных». Изображался обычно в виде собаки. Кокто не раз обращался к этому мифологическому персонажу, в частности при создании костюмов для спектакля «Адская машина».

В конце концов поездки в Швейцарию прекратились. Госпожа Форестье перевезла его с итальянских озер в Венецию.

На Лаго-Маджоре он познакомился с одним студентом, изучавшим Бергсона и Тэна. У него были белокурые усы, лорнет и скепсис переодетого Барреса*. Интеллект его был отточен донельзя — он смаковал его и тем истончал, как леденцовую палочку. Этот непослушный послушник науки смотрел на Борромейские острова** свысока. Он прозвал их «сестры Изола».

Его причуда стала для Жака откровением — ему впервые открылось, что можно вольно использовать свои пять чувств. Сам он принимал эти острова безоговорочно.

Пышный ярмарочный тир, рассыпавшийся в крошки, — это Венеция днем. Ночью это влю-

* *Баррес, Морис* (1862–1923) — французский писатель и политический деятель. В романах «Сад Береники», «Свободный человек» проповедовал «культ себя», призывал искать источники экзальтации, говорил о бессознательных движениях души. Превозносил германский национализм. Его идеи героизма и аскетизма оказали значительное влияние на таких писателей, как Монтерлан, Дрие ля Рошель, Мальро. В статье «Памяти Барреса», опубликованной 26 ноября 1953 года в «Нувель литерер» Кокто пишет, что восхищался романами Барреса вслед за старшим поколением, для которого тот являлся богом, но при этом замечает, что не согласен с его политикой.

** *Борромейские острова* — четыре острова: Изола-Мадре, Изола-деи Пескатори, Изолино Сан-Джованни и Изола-Белла в западной оконечности Лаго-Маджоре между Стрезой и Палланцей.